

**"НА ЛИСТИК ЛАВРА ПРАВО"  
(Об Анне Присмановой, 1892-1960)**

Литературное становление Анны Присмановой развивалось по худшему из возможных сценариев. К роковому 1917 году ей уже исполнилось 25 лет. Все эти годы она прожила в провинции, в Латвии, в Либаве (ныне Лиепай), сложиться как поэт не успела и никакой известности в литературных кругах не приобрела. Два с половиной года в Москве (1918/19-1921) практически ничего в этом отношении не изменили. Дальше - эмиграция, поначалу (в Берлине) окрашенная надеждами на скорое крушение большевизма, а затем (в Париже) - безнадежная и беспросветная.

Душевное состояние писателя первой русской эмиграции воссоздать в наши дни почти невозможно. Ткань времени была совершенно иной. Сегодняшний мир, какую страну ни возьми, - плод мучительных и по временам трагических десятилетий эволюции. Присмановой и ее поколению выпала на долю внезапная глобальная общественная катастрофа. Первая мировая война и последовавшая за нею цепь переворотов разом демократизировали человечество. За всю предшествовавшую историю в этом смысле было сделано меньше, чем за четыре страшные года войны, которую в Европе называют великой. Вся ценностная структура цивилизации в одночасье была перевернута вверх дном - им же, изгнанникам, могло казаться, что она вовсе рухнула. Еще вчера свободное художественное слово ценилось в России на вес золота, возвышалось до откровения, - сегодня оно оказалось никому не нужным. Живая связь с Россией Пушкина прервалась. Вчера писатели были властителями дум - сегодня они мешали большевикам строить светлое будущее на костях современников.

Скажут: так переживали катастрофу и те, кто остался в России. Верно, но эмигрантам пришлось тяжелее в культурном отношении. Им (до прихода нацистов) не грозило физическое уничтожение, не приходилось приспосабливаться и раболепствовать. Жизнь не подталкивала их к нравственному падению, протекла в странах относительно благоустроенных. Они не знали ни коммуналок, ни лагерей, ни всеобщего доноительства, ни ежедневного страха, ни тотальной лжи, ни инквизиторского лицемерия. Но что мог порусски сказать миру начинающий писатель, живущий в Париже? Питательной среды не было. Самый язык, стараниями большевиков, стал другим. Мало того: окружающий мир, свирепо демократизированный западный мир, с почтительным изумлением (подчас и с обожанием) взирал на первую в истории страну рабочих и крестьян, а в русских эмигрантах видел вчерашних эксплуататоров, ставших жертвами справедливого народного гнева. Французские интеллектуалы были поголовно левыми. Пропагандистские лозунги большевистского Кремля казались некоторым моисеевыми заповедями свободы, равенства и братства. Сами эмигранты, особенно те, кто покинул Россию детьми, не свободны были от завораживающего воздействия московского спектакля. В Москве делалось будущее, может быть, ужасное, но неизбежное и - научное. "Мы принадлежим вчерашнему дню. Мы не нужны России", - вот что должны были чувствовать даже те из них, кто догадывался о природе большевизма и его конечном поражении.

Тяжело было и старшим, чье становление завершилось в России. Массовой эмиграции русская культура прежде не знала. Проза до большевиков во многом питалась живым народным бытом, - этот источник разом иссяк. Поэзия, меньше привязанная к быту, тоже нуждается в литературной среде, а расцветает обыкновенно лишь в блестящем столичном обществе. Сложившаяся индивидуальность кое-как справляется с нехваткой

воздуха. Литературная молодежь - бьется как рыба на песке. Живой читательский отклик ей просто необходим, но его-то и не было и не могло быть в эмиграции.

При этом самого страшного эмигранты не знали. Большевики сумели воспитать два поколения образованных людей, для которых самое слово эмигрант звучало как ругательство\*. Эта метаморфоза шла дальше воображения прозорливейших из беженцев. Отторжение было полное. Знай они это, многие, вероятно, руки бы на себя наложили.

Конечно, для первой русской эмиграции (в отличие от второй и третьей) был выход в иноязычные литературы. В ту пору эмигранты по-настоящему знали языки. Но этот выход (которым многие воспользовались) означал и выход из русской литературы, отказ от России, литературную смерть в русском языке.

Можно ли допустить, что хоть в каком-то отношении эмиграция была плодотворна для русского писателя? Один представитель третьей волны, выехавший на Запад в 1970-е годы, прямо назвал свою эмиграцию художественным приемом, позволившим ему обратить на себя внимание. В третьей волне такое могли бы сказать о себе многие; иные и ехали на Запад не иначе как за славой. К началу 1980-х доверие к советской литературе было в России подорвано настолько, что эмигрантская литература начала понемногу входить в моду. Уже вторая русская эмиграция, военная, пришедшая на 1940-е годы, открывала перед молодым писателем возможности, которых не было в СССР: он хоть печататься мог, а талант, вырвавшийся из страшной советской действительности, в нормальной стране мог и расцвести. В значительно меньшей мере это относится к первой эмиграции. Верно, что мы не знали бы нескольких имен, которые сегодня на слуху, - если бы эти люди жили (и выжили) в советской России. Там они либо вовсе бросили бы писать, либо растворились в бесчисленном множестве других имен. Талантов за железным занавесом было больше - просто потому, что соискателей славы было несопоставимо больше. Бунин, Мережковский, Алданов, Куприн, Ходасевич, Набоков, Цветаева - имен такого масштаба было в 1920-30-е годы в России, может быть, не больше, чем в Париже, - но рядом с этими эмигрантами на страницах берлинских и парижских изданий находим авторов полупризнанных, для которых и сегодня всё еще подыскивается место на полке. Среди них - и Анна Присманова.

Жизнь поэтессы, скорее обычная, чем замечательная (если говорить о ее поколении), полна белых пятен и лишь смутно вырисовывается в воспоминаниях современников. Отец Анны, русский еврей Симон Присман, был врачом в больнице портового города Лиенау. Трех своим дочерям он дал русские имена (Анна, Вера, Елизавета; Анна была старшей) и русское образование. Мать девочек (Регина) умерла рано; ее сменила мачеха (Софья), человек, по-видимому, незаурядных душевных качеств. Девочки считали себя русскими. В 1910 году Анна крестилась в православие - несомненно, по убеждению и свободному выбору (из соображений практических принимали в ту пору лютеранство). Свой отход от еврейства она закрепила псевдонимом Анна Присманова, ставшим впоследствии и ее анкетным именем. В декабре 1918 года, когда Латвия становится независимой, сестры уезжают в Москву. Здесь впервые слышим об Анне Присмановой как об авторе, но стихов той поры не сохранилось. Весной 1921 года, когда, с введением НЭПа, большевики открыли выезд за границу, сестры перебираются в Берлин.

\*Отголосок этого отношения видим сегодня. Молодежь в России, плохо выучившая английский и толком не знающая русского, пишет иммигрант вместо эмигрант. Слово эмигрант для них звучит дурно. Думают почему-то еще, что новый термин подчеркивает въезд, а старый - выезд. В действительности по смыслу они равнозначны, с той оговоркой, что в новом есть оттенок биологического термина; в старые времена к людям он не применялся.

Культурная жизнь русского Берлина 1921-25 годов - хорошо изученный феномен. По временам казалось, что там находится вся русская литература двух столиц. Одних только русских издательств было около ста, издавались газеты, журналы, альманахи, общая же численность текучей русской общины в Германии простиралась до 250 тысяч человек. Большинство там отсиживалось, дожидаясь краха большевизма. Писатели тоже в своем большинстве были не беженцами, а выбежанцами (Шкловский) с советскими паспортами.

В Берлине Присманова входит в литературное объединение Четыре плюс один. Она, Георгий Венус, Семен Либерман, Вадим Андреев - писали стихи, Бронислав Сосинский - критику. Все были очень разные и сошлись скорее от потребности объединяться перед лицом равнодушно-неприятной действительности, чем из эстетической близости. Андреев (1902-76; сын Леонида Андреева) в своих поздних воспоминаниях Возвращение в жизнь (1969) дал крайне недобросовестный (с оглядкой на советскую цензуру) портрет литературной эмиграции. Группа издала в Берлине одну общую книжку (Мост на ветру, 1924), прошедшую практически незамеченной, и вскоре распалась, не оставив следа в литературе.

В 1924 году русский Берлин начинает сходить на нет, и Присманова, в числе многих, перебирается в Париж. Во Франции атмосфера была другая: люди оседали на годы. Русская литературная жизнь выглядела поначалу обнадеживающей. Молодежь устраивала кружки и объединения с броскими именами - и задирали маститых, тех, кто составил себе имя еще в России. В поворотном 1925 году Мережковскому было 59, Бальмонту - 58, Тэффи - 57, Зинаиде Гиппиус - 56, Бунину и Куприну - 55, Ивану Шмелеву - 52, Ремизову - 48, Борису Зайцеву - 44, Алданову и Ходасевичу - 39. Здесь пролегает граница между поколениями. Георгий Адамович и Цветаева (обоим по 33) смотрели уже не в прошлое, но в будущее. Адамович, как поэт и особенно как критик, в последствии возглавил парижскую ноту, единственное сколько-нибудь заметное эстетическое течение в эмигрантской поэзии (отправлявшееся, между прочим, от акмеизма). Цветаева, в России едва начавшая приобретать известность, все еще принадлежала к молодым. Дальше шла уже именно парижская молодежь: Владимир Коровин-Пиотровский (34), Юрий Терапиано (33), Георгий Иванов (31), Владимир Вейдле (30), Антонин Ладинский (29), Илья Зданевич (29), Александр Гингер (27), Владимир Набоков (27), Борис Божнев (27), Довид Кнут (25), Владимир Смоленский (24), Нина Берберова (24), Ирина Одоевцева (24), Юрий Одарченко (22), Борис Поплавский (22), Ирина Кнорринг (19), Юрий Мандельштам (17). Все они писали стихи. Сегодня, взглядываясь в этот список (который можно расширить), мы видим, что в первый ряд русской литературы поднялись немногие, может быть, только трое: Набоков - как прозаик, Цветаева - как поэт, Вейдле - как художественный критик и мыслитель. (Иные прибавят еще поэта Георгия Иванова.) Прочие - либо по тем или иным причинам состоялись не вполне, либо, как иногда полагают, должны быть заново прочитаны и переосмыслены.

Присманова оказалась старшей среди парижской молодежи. Ее ровесница Цветаева была уже автором десяти книг, Присманова - не издала ни одной. Ей, как и многим из молодых, не хватало образования - не университетского даже, а светского, того, которое дает живая литературная среда нормального, устоявшегося культурного общества. Революция разрушила эту среду, выбросила литературную молодежь в мир, где на первом месте была не эстетическая борьба, а борьба за выживание. Бедность среди пишущих россиян была вопиющая. Работали кем придется. Иные голодали. Развитой государственной помощи эмигрантам не существовало. Беженцам разрешалось жить во Франции лишь на условии отказа от регулярных профессий, от занятия должностей, предназначенных гражданам. Безработица в межвоенные годы в Европе была страшная - и

уже осознавалась правительствами как первостепенная государственная проблема. Эмигрантам разрешались только свободные профессии.

Присмановой судьба улыбнулась. В первые же месяцы в Париже она встретила и полюбила человека, который стал ей другом на всю жизнь: начинающего литератора Александра Гингера. Он был моложе на шесть лет, но союз их оказался если не безоблачным, то на редкость гармоничным. Уже в 1924 году Гингер ямбами говорит о "супруге, взысканной душой". Лишь смерть Присмановой разлучила супругов. Базиль (Василий Александрович) Гингер, их первенец, вспоминает, что родители много и часто спорили, притом больше на бытовые темы, чем о литературе, - случалось, по его словам, "спорили, чтобы спорить", ибо характер оба имели непростой; но мира в семье это не нарушало. Супруги всегда обращались друг к другу на вы и по имени-отчеству.

Портрет Гингера столь же фрагментарен, что и портрет Присмановой. Письма и воспоминания донесли до нас ускользающий образ человека ищущего, но не мечущегося и противоречиями не изломанного, скорее жизнерадостного, чем мрачного, чудаковатого, подчас склонного к розыгрышам и мистификациям, доброго и общительного, не честолюбивого и не тщеславного. Как и Присманова, он вышел из ассимилированной еврейской семьи (отец был врачом в Петербурге), к иудаизму, сионизму и еврейской традиции остался равнодушен, алтарь и храм для себя подбирал, отправляясь от разума и своего жизненного опыта, а частично и возводил сам. В отличие от Присмановой, он находит себя лишь в поздние годы и становится не христианином, а буддистом. В материальном отношении Гингер был относительно независим. Его дядя работал управляющим химической компании, где для племянника нашлась не слишком обременительная должность бухгалтера.

Тон в этом союзе, судя по всему, задавала Присманова. Литература, поэзия - значили для нее больше, чем для Гингера. Предшествующая эпоха литературной России научила поэтов объединяться - для отвоевания общими усилиями места на литературном Парнасе. Присманова и Коровин-Пиотровский, при участии Гингера, затевали свое объединение, группу формистов, но из затеи ничего не вышло: не было ни общей платформы, ни воодушевляющей плодотворной мысли. Скорее всего, группа затевалась просто в пику Мережковским и их салону.

Поэтическое становление Присмановой мучительно затягивалось. Еще до знакомства с нею Гингер издал в Париже книгу стихов Свора верных (1921), а после знакомства и сближения и вторую книгу, Преданность (1925; в этом году у четы родился сын Василий); Присманова - лишь изредка публикуется в периодических изданиях. Печатают ее и других молодых неохотно. Бунин называет уровень тогдашней парижской литературной молодежи горестным (1926). Только в 1937 году, в возрасте сорока пяти лет и спустя почти 13 лет после переезда в Париж, Присманова издает, наконец, свою первую книгу, Тень и тело, в которой самые ранние стихотворения помечены 1929-м годом. Где стихи предшествующих лет? Ведь она писала и в Латвии, и в Москве, и в Берлине. Какова природа этой повышенной требовательности к себе, заставляющая вспомнить Боратынского? Как вообще могла поэтесса выжить так долго без первой книги, столь необходимой ступени творческого взросления? Уже сами эти вопросы подводят к мысли о неутешительном состоянии русской литературы в Париже. Вглядываясь в воспоминания русских парижан, нельзя не чувствовать, что самые добросовестные из них невольно приукрашивают картину тогдашней литературной жизни. Похоже, что на деле "блистательный Монпарнас" был пустыней. Парижские поэты поколения Присмановой жили в своем узком замкнутом кругу, который возводили в достоинство литературного мира; за пределами этого круга - читателей у них практически не было.

Жизнь Гингеров была куда более нормальной (менее богемной), чем жизнь некоторых русских писателей Парижа. В 1928 году у четы родился второй сын, Сергей (Серж Женжер). Годы с 1929 по 1932 они провели в нормандском городке Серкиньи, где Гингер работал в филиале дядиной компании. Нормандия не понравилась Гингеру. Не склонный к сильным проявлениям чувства, он в одном из рассказов говорит о своей ненависти к ней.

Вернувшись в Париж, Гингеры оказались на обочине русского Монпарнаса, жили скорее замкнуто, чем общительно, хотя и учредили свои среды. Над ними, случалось, подсмеивались, их "не принимали всерьез" (Юрий Иваск), но вместе с тем из виду не упускали, и на первую книгу Присмановой мимоходом откликнулись поощрительно-критическими репликами два самых влиятельных критика русского Парижа, Ходасевич и Адамович. Писал о книге (тоже мимоходом) и Вейдле. Отзывов Цветаевой не сохранилось, но она дружила с Гингерами (смотревшими на нее, по дошедшим сведениям, "снизу вверх"), бывала у них - в частности, была и перед своим отъездом в СССР в 1939 году. Случайно оказались там в этот вечер и Георгий Иванов с Ириной Одоевцевой. Последняя воспроизводит встречу в своих воспоминаниях На берегах Сены, попутно набрасывая штриховой портрет Присмановой и Гингера:

"...Дверь нам открывает сам Гингер. Но, к моему удивлению, он не только не выражает восторга от неожиданного появления Георгия Иванова, а скорее смущен и растерян, хотя и старается скрыть это.

- Вот уже кого никак не ждал. Великолепно, чудесно. Спасибо, - отрывчато произносит он, неловко топчась перед нами, укладывая наши шляпы на комод в прихожей, как будто желая задержать нас подольше. И вдруг будто решаешь:

- А у нас Марина Ивановна. Пришла проститься перед своим отъездом в Москву.

- Ах, вот в чем дело - Марина Цветаева здесь. Она терпеть не может ни Георгия Иванова, ни Адамовича, ни меня, считая нас петербургскими снобами-эстетами.

Совершенно понятно, что наше неурочное появление обеспокоило бедного Гингера. Ему казалось, что оно может испортить его "последний вечер с Цветаевой".

Но сейчас пути к отступлению были отрезаны. Гингер вводит нас в комнату, где за столом перед листом бумаги сидит Марина Цветаева. Тут же Софиев, Корвин-Пиотровский, Закович и еще несколько так называемых молодых поэтов.

Присманова кидается нам навстречу. Ей и в голову не приходит, что из-за нас может произойти какое-нибудь недоразумение. Она вообще вряд ли знает о взаимоотношениях своих друзей и знакомых. Это ее не интересует. Она выше всего этого, постоянно витая в заоблачных сферах поэзии.

Марина Цветаева смотрит на нас, прищурившись. (...) Но Георгий Иванов быстро подходит к ней и целует ее руку, которую она с некоторой задержкой подает ему.

- Марина Ивановна! Как я рад! Я боялся, что мне не удастся проститься с вами перед вашим отъездом.

- Рады? - холодно переспросила она, - вот не ожидала. (...) А ведь меня теперь большинство прежних знакомых на улице не узнает; не кланяются мне, отворачиваются от меня.

- Мерзавцы! - отчеканивает Гингер. - Повесить бы их всех, буржуев и богачей.

- А мы, - перебивает его Закович, обращаясь к Георгию Иванову, - как раз одному такому буржую, по инициативе Марины Ивановны, сочиняем коллективную просьбу дать деньги на каникулы N. N.

N. N. - милая молодая писательница, только что перенесшая тяжелую болезнь.

Текст бумажки обсуждается фраза за фразой. Георгий Иванов острит, как всегда, и смешит всех. Я не думала, что Марина Цветаева может так звонко и весело смеяться. Я никогда не видала ее такой оживленной и дружелюбной. (...)

Все шумно и весело прощаются с Присмановой и Гингером. Они оба сияют - такого удачного 'свидания поэтов' у них еще не было..."

В роковом 1939 году выпустил книгу и Александр Гингер (Жалоба и торжество). Но Парижу было уже не до стихов.

Европа стремительно скатывалась к войне. В сентябре 1938 года, на мюнхенской конференции, Великобритания, Франция и Италия отдали Германии Судеты; 15 марта Гитлер захватил оставшиеся земли Чехословакии; 24 августа, пресловутым пактом о ненападении, Москва и Берлин разделили Польшу (нацисты вошли в Польшу с запада 1 сентября, большевики с востока - 17 сентября); 3 сентября Великобритания и Франция, гарантировавшие независимость Польши, объявили рейху войну (а большевистской агрессии не заметили); 14 июня 1940 нацисты вступили в Париж.

Все четыре года нацистской оккупации Гингеры провели в Париже. Поразительным образом, жизнь их протекала не в подполье, а дома. Лишь изредка Александр ночевал у друзей. Несколько раз за ним приходили, но не заставляли (о рейдах его предупреждали заранее). Анну - не трогали: она была православной и русской, поскольку крестилась еще в царской России. Дети - тоже считали себя и считались русскими. Слухи о том, что Гингеры будто бы жили на чердаке, откуда лишь изредка, не чаще раза в неделю, выходили на улицу, неверны. Вообще, о преследовании евреев в Париже (и об отношении к евреям французов) выразительно говорит тот факт, что из 300 тысяч потенциальных жертв погибло только 75 тысяч, то есть всего четверть. Жуткая статистика - но она могла быть еще более жуткой. Даже Анри Бергсон, отправившийся на регистрационный пункт за желтой звездой (для чего встал со своего смертного одра), умер в своей постели.

Александр Гингер не регистрировался как еврей и желтой звезды не носил. Еврейство представлялось ему не национальной, а культурно-религиозной общностью, к которой он не принадлежал ни одного дня своей жизни - стало быть, и евреем не был. Расовая классификация казалась ему вздором. А его мать, Мария Михайловна Блюменфельд, ближе стоявшая к еврейству, зарегистрировалась, носила маген-довид - и погибла в Освенциме.

В годы оккупации Присманова продолжает писать - немного, но и не меньше, чем поэты обычно пишут в этом возрасте: по десять или около того стихотворений в год. Если судить по стихам, то внешнего ужаса она практически не заметила; ей хватало того, что творилось в душе.

В августе 1944 года Внутренние силы Франции (Forces Francaises de l'Interieur; так стали называться реорганизованные силы Сопротивления) подняли восстание в Париже, и вскоре генерал Жан-Филипп Леклерк, а за ним и генерал де Голль (26 августа) вступили в Париж. Союзники позаботились о том, чтобы первыми вошли в столицу Франции именно французы. Вместе с Францией кое-как возвращался к жизни и русский Париж. В 1946 у Присмановой выходит вторая ее книга стихов, Близнецы.

Между тем в воздухе висело новое поветрие: репатриация. Великодушная Россия прощала белых эмигрантов, звала изгнанников назад, - да разве и могло быть иначе после

такой победы? О судьбе Цветаевой и других, вернувшихся до войны, в Париже не знали. О лагерях смутно слышали, но (как всегда бывает) не верили, что сажают невинных. Младшие представители первой эмиграции были уже немолоды; тоска по родине брала свое. О том, как родина встретила вернувшихся, хорошо известно. Однако не все из них попали в лагеря и погибли. Сестра Присмановой, Елизавета, вернулась с мужем в Россию, куда еще раньше уехал их сын. Пришлось им несладко, но они не сидели.

На грани рокового шага находилась и Присманова. Она, судя по всему, взяла советский паспорт, хотя свидетельства на этот счет расходятся. Александр Гингер жил с нансеновским паспортом, ибо просрочил советский (он в 1919 году въехал во Францию не как беженец, а как советский гражданин). О возвращении он не хотел и думать. Сын Гингеров, Базиль, рассказывает, что отец не мог простить большевикам расправы над Гумилевым, - стало быть, природу режима Александр понимал лучше многих. Возможно, он и удержал Анну.

В 1949 году выходит третья (последняя прижизненная) книга Присмановой, Соль. Прожила поэтесса еще одиннадцать лет. Она страдала сердечными и легочными болезнями и скончалась 4 ноября 1960 года. Александр Гингер пережил ее на пять лет.

До разрушения Берлинской стены русская литература существовала в трех ареалах, состояла из трех разновеликих частей: из литературы советской, литературы эмигрантской и литературы самиздата. Из каждого ареала два других виделись словно бы в перевернутый бинокль. Сегодня их неизбежное слияние всё еще не завершено, иерархическая пирамида эпохи - не выстроена, и читатель, который без предвзятости, с одинаковым доверием начнет знакомиться со стихами Присмановой и, скажем, Николая Тихонова, еще не родился. Это делает почти безнадежной самую честную попытку отвести поэту подобающее ему место. Слова о том, что художественное произведение живет, - не метафора. Шедевр, написанный или открытый сегодня, еще не шедевр, он войдет в возраст только вместе с полюбившими его читателями.

И опять в самом невыгодном положении оказываются именно молодые парижские поэты первой эмиграции. Количественное преобладание авторов и читателей, живших и живущих в России, заставляет смотреть на парижан глазами москвичей. Этот взгляд противоречив и неустойчив. В начале 1990-х, словно очнувшись, Россия с обожанием уставилась на русский Запад; эмигранты, все без разбору, вошли в моду. Однако мода продержалась недолго. Уже к середине 1990-х на первый план выдвигается поколение молодых российских авторов, свободных от прошлого, не вынесших на своих плечах ужаса минувшей эпохи, - и эмигранты опять оказались на высылках.

Но от оценок не уйти, и для каждого поэта приходится по мере сил подыскивать место в этом переменчивом культурном ландшафте. Где же место Присмановой? Единственная\* обстоятельная статья о ее стихах написана Екатериной Таубер к годовщине смерти поэтессы. В ней читаем:

""Что дороже нам: розы или рожь?", спрашивает Анна Присманова. Вся ее поэзия (три книги стихов и поэма 'Вера') устремлены к будничному. Она не терпит прикрас, срывает их резко, ошеломляет подчас нарочито угловатыми образами ... сознательно

\* Е. Таубер. Розы или рожь? (Памяти Анны Присмановой). Новый журнал, кн. 64, 1961, стр. 151-158. Диссертации западных славистов можно в счет не брать. Для понимания творчества Присмановой они не дают ничего.

предпочитает уродство мнимой красоты ... стремится уничтожить ложный блеск, ищет смятения, а не гармонии, хочет разозлить, оттолкнуть от себя читателя, а не привлечь его..."

В самом деле, чтобы определить Присманову, приходится сначала прибегнуть к отрицаниям: сказать о том, чего у нее нет. Нет, например, привычных стихов о любви, которые - кратчайший путь к сердцу читателя. Нет напевности, хотя она всегда пишет правильными метрами (обыкновенно ямбами и хореем). Нет упоения звуком и мандельштамовского виноградного мяса. Нет и прямого следования сложившимся течениям. Она "устремлена к будничному", но - не акмеистка; "хочет разозлить читателя", но - не футуристка. Русский Париж, по большому счету, признавал в России двух поэтов: Ахматову и Пастернака (традицию и модернизм), - ни на одного из них Присманова не похожа (хотя, конечно, ближе к Пастернаку). Рядом с Ахматовой - она не в достаточной степени женщина, рядом с Пастернаком - недостаточно физиологична и предметна, - суховата, прохладна. Отмечалось, и не без основания, что в своих неудачах она иной раз напоминает имажинистов - главным образом, вкусовыми срывами (роднящими имажинистов с Пастернаком и Северяниным). Но и здесь невозможно говорить о принадлежности к направлению.

Уже из этого видно, что войти в мир Присмановой непросто. Она - тяжелое чтение. У читателя не пропадает чувство, что он идет по бездорожью. Колдобины - на каждом шагу:

неузнаваем лебедь на воде, -  
он, как Бетховен, поднимает ухо.

Здесь спрашиваешь себя (как всегда приходится спрашивать при столкновении с модернизмом): чего тут больше, вызова или простого неумения? И - в какой мере эпоха повинна в подобного рода "сознательных уродствах"?

Два больших парижских поэта, Ходасевич и Цветаева, тоже прямо не прослеживаются у Присмановой. Ходасевичу она посвящает стихотворение; другое - начинает строкой "Путем зерна, вначале еле внятными...", откликаясь на название его книги (Путем зерна), чем обозначает интерес к нему; сухость и сдержанность роднят ее с ним. Но Ходасевич - неоклассицист, последний поэт в живом контакте с Пушкиным и его эпохой; его тяжелая лира тяжела для него, поэта, для читателя же - не в пример легче музыки Присмановой, кровно связанной уже с эпохой модернизма. С Цветаевой Присманова дружит, тоже посвящает ей стихи и, вероятно, восхищается ею (говорят, отрезала у нее прядь волос на прощание, перед отъездом той в Россию), но совсем на нее непохожа; характернейших цветаевских анжамбеманов, ее стремительности и напора - у Присмановой не находим. Модернизм Цветаевой не идет дальше формы, по своей глубинной сущности она - художник старой школы (как Осип Мандельштам сказал о Натане Альтмане), - Присманова же, рифмующая век-человек, зданья-созданья, глубоко затронута эпохой распада привычных ценностей.

Произношу я прежние слова,но все они полны иного смысла...

Лебедь-Бетховен - выражение растерянности перед распадающимся миром.

Присманова тяжеловесна - и косноязычна. Слово сосредоточье звучит как порча языка, как невладение словом. Слово музыка не имеет по-русски множественного числа, что делает неказистым стих "любовь есть для нее рожденье музык" (неказистый и по

своей ритмико-звуковой организации). Вода не может, в соответствии с русской нормой, бить к берегу, она бьет в берег, да и не вода, а волна, и т. п. Голова не может подходить, как она это делает в следующих стихах:

Суд. На скамейке подсудимых  
сидят высокие слова.  
К ним, с грузом слов необходимых,  
моя подходит голова.

Здесь, кроме того, разрушена идиома скамья подсудимых; слово скамейка - от неумения. Подобного рода огрехов (куда нужно добавить и неправильные ударения) у Присмановой много. На вопрос, высокое ли это косноязычье, можно попробовать ответить с учетом географии: сказать, что парижская ветвь русского языка отличалась от московской. Но у Ходасевича, Цветаевой или Георгия Иванова мы, даже и осязая по временам не совсем привычный языковой пласт, косноязычия все же не отметим. У Присмановой же - не находим и того, что искупает любое косноязычье: окрыляющей игры воображения, которая в поэзии осуществляется через звук. Звук у нее беден.

Парение, высокий дар богов,  
соединив с настойчивостью нрава,  
полет - с невозмутимостью мозгов,  
на листик лавра я имею право.

Парение здесь - назывное, в стихах оно наблюдается редко. Однако страдание в ее стихах звучит неподдельное, и душевная работа совершается подлинная.

## **БАБУШКА**

Изъяны предков достаются детям,  
и внучка болью бабушки больна.  
Любовью звали бабушку, и этим  
моя судьба predetermined.  
О, бабушка, жила ты в желтом доме,  
где рукава сходились на спине.  
Остался желтый облик твой в альбоме,  
а рукава - ты завещала мне.  
Как два пути с единым назначеньем,  
живут во мне раздельно кровь и кость.  
Стремится кровь к тебе своим теченьем,  
но кость моя - тебе незваный гость.  
Лишь только ночь подходит к изголовью,  
два дерева меня на части рвут.  
Быть может, и меня зовут Любовью,  
но я не знаю, как меня зовут.

Последние два стиха принадлежат большой поэзии без скидок и оговорок. (Они - едва ли не лучшие, не самые убедительные во всем творчестве Присмановой.) Если бы всё стихотворение было выдержано в таком тоне и ключе, оно было бы шедевром.

Поэтессе не хватает прямой, открытой переключки с другими поэтами. Такая переключка не вовсе отсутствует: стихотворение Стол могло быть откликом на стихи Цветаевой ("Мой письменный верный стол..."); строки из стихотворения Кость ("Не танцевала никогда я на ученическом балу...") - возражением-откликом на строки

Ходасевича ("Разве мальчик, в Останкине летом Танцевавший на детских балах..."). Но эти примеры - исключение, а не правило. Полный отказ от высоких слов, нагруженных поэтическими ассоциациями, тоже сужает горизонты поэтессы. Поэзия, при всей ее индивидуальности, - работа всё же коллективная. Над стихами Присмановой невольно вспоминаешь, что Гете предостерегал поэтов от излишней оригинальности.

Екатерина Таубер упрекает Присманову в том, что поэтесса чрезмерно занята собою, - и хвалит за позднее преодоление эгоцентризма. Это - ложный ход мысли. Лирический поэт всегда занят собою, даже когда предмет его стихотворения - пейзаж или культурный феномен. Упрек в эгоцентризме прикрывает другое: сомнение в художественной убедительности лирических самопогружений Присмановой. С годами ослабевает у поэтессы не эгоцентризм, а напряженность отталкивания от привычного, потребность говорить не так, как другие. Поздняя поэма Вера (о Вере Фигнер) написана более традиционно, чем лирические стихотворения сборников, и ее не отнесешь к удачам. Современники не увенчали Присманову лавровым венком властителя дум поколений, венком Ахматовой и Пастернака, посмертным венком Цветаевой, Ходасевича, и Мандельштама, - не увенчаем и мы. Если бы самостоятельность действительно была главным в искусстве, Присманова немногим уступила бы в XX веке, - но, конечно, на деле этого качества совершенно недостаточно, сколь ни привлекательно оно само по себе.

Целостность и подвижничество - вот что приходит на ум при имени поэтессы, если попытаться определить ее жизнь и творчество в двух словах. Эти превосходные свойства - неперенные составляющие легенды о ней, которая ведь тоже является произведением поэта и, в известном смысле, итогом его жизни. Легенда, оставшаяся от Присмановой, красива и убедительна. Сегодня она жизнеспособнее стихов поэтессы. Но даже если завтра стихи и легенда не поменяются местами, на свой листик лавра Присманова определенно имеет право. Она "создала свой особый мир, не лишенный странной привлекательности" (Юрий Иваск). Этого - у нее не отнять.

© Ю.Колкер Публикации и об авторе - в Тематическом Указателе в разделе "Литературоведение"